

*Звезда полей, звезда над отчим домом.
И матери моей печальная рука...*

ВОЛОГОДСКАЯ СТАРУХА

Со старухой в поезде ехала. Да не как-нибудь — в плацкартном вагоне. В общий-то сейчас не больно народ загонишь.

Старуха эта вологодская, я вятская. Земля одинаковая, и жизни сходятся. Я чего вспомню, она поддерживает: эдак, эдак! Чего, говорит, дочери везу, так не поверишь, засмеешь. «А что такое?» И смех и горе, говорит, в гости со своей ложкой еду. Раскрывает чемодан — полный ложек-писанок. Дочь ее просила привезти: нынче, написала, ложки деревянные за редкость считают. Еще заказывала старинную икону, но икону мать не повезла: уж это-то не ложка.

Тут и я в свою сумку полезла. Смеюсь: «Погли-ко, а я-то чего сыну везу — дымковскую вятскую игрушку».

Не дивно ли, игрушки, а не продовольствие везем? Вспомнили, как по три мешка картошки таранили, на муку меняли...

Вот сказала, что со старухой ехала. Только мы и в том сошлись, что не старухи мы, хоть и бабушки. Хоть пословица и есть: старый старится, молодой растет, да на самом деле старый живет, а молодой все жить думает. Старые к месту определились, а молодые мечутся.

Первая внучка родилась, ну, говорю своему мужику: здравствуй, дедушка! Нет, отвечает, мать, не буду дедушкой зваться, пока сама внучка не назовет. Не дождался, году не прошло, заговорила. Я его поддразниваю: бороду отпускаяй, сказки рассказывай. Так-то бы он много чего порассказывал, много наизусть знает, старая закалка, да внучку увезли. Тут телеграмма от сына: вторая внучка, потом у среднего внук, да так до семи и догнали. Не при нас живут, все наездами. Или мы к ним. Хорошо принимают, не пообидишься, но поживешь, и домой тянет. Дом есть дом.

Сейчас дежурной в гостинице работаю, на командировочных насмотрелась. Номера у нас теплые, телевизор стоит, поломатье каждый день, а редчайший случай, чтоб кто-то домой не торопился...

РАЗБИТОЕ ОКНО

Плохо без постоянного места жительства. Вот взять, к примеру, хоть голубей. В гостинице на чердаке много голубей живет. А по одно время хотели выселить: чердак загрязнили, да и кричат, клиентов беспокоят.

Утром их выгнали, вставили окно. Они весь день летали, беспокоились, а обратно попасть не могут.

И вечером, как им садиться, тоже кричали. Я занялась с приезжими: вечером много прибывает, всех разместила. Раскладушки пришлось ставить: не на улице же людям ночевать.

Ночью вспомнила голубей — молчат. Ну, думаю, нашли другое место.

А утром заведующая входит, спрашивает, чего это на чердаке окно выбито. Камнем, что ли, кто выбил? «Не знаю, не видела». Полезли на чердак, а там голуби.

Окно разбито, и у окна один мертвый лежит. Видно, тот, который стекло пробил.

Так уж мы их больше не выгоняли. А того закопали.

НАШ ДОМ

Старею, конечно. Совсем дырявой голова становится. На работу иду — то очки забуду, то еще что. Это уж, парень, не от нас зависит, кому какое время. Но что интересно: детство помнится, свои старики, — пришло время и их помянуть. Живы были, мы все больше не о них, о себе думали. Уж, видно, не нами заведено, не нами кончится. И нас внуки в свою старость вспомнят.

Первое, что помню, когда еще большой семьей жили. Восемнадцать человек семья была. Стали делиться. Мой отец выбрал место повыше, песок, чтобы двор сухой. Я, говорит, и так на работе с водой барабаюсь (он сплочиком и плотогоном был, лоцман), так дом пусть будет на суше. Трава на дворе. Дядя Гриша, тятин брат, все завидовал. «Семен, — кричит, — приеду с сохой, перепашу весь двор!» Ну это он в шутку, конечно.

И вот, помню, меня увели на старый двор, а обратно однупустили. Я заблудилась.

Стою на мосту через Мелетку и плачу: где наш дом, где наш дом?

Дядя Гриша вывел меня. Все потом дразнил: «Где наш дом, где наш дом...» Совсем я стала взрослой, приехала тятю хоронить, дядя Гриша седой-седой, а не забыл, поддразнил.

Да и я помню: свой дом потеряла, чего уж страшнее?

ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

Все работы в одно место не соберешь, люди и разъезжаются. И мы выросли, тоже разъехались. Свои дети пошли. Только-только обзавелись кое-чем, оба молодые, только бы жить, — война. Мужа взяли, и вся моя радость в заботу да в работу перешла. Война прокачала — детей надо учить...

Да что я жалуюсь! Дети б хорошо жили, вот мне и радость. И то сказать, что мы хоть и в нелегкости росли, а радость была. Косим, бывало, еще в девчонках, устанем, по́том изойдем, да вдруг дождь! Косынку сдернешь, голову запрокинешь — пусть хлещет! Платье на груди распахнешь, и грудь под дождь!

Нет, не жалуюсь. Нашим отцам было трудно — нас вырастили, нам было полегче — детей выучили, внучатам еще легче. Думали ли раньше, чтоб пять-десять километров ехать. Все пешком. Сейчас пятьсот метров кажется много. Хитрей народ, умней. Полощешь раньше — руки леденеют, до утра ломит, а сейчас в хирургических перчатках придумали, не так руки зябнут. Да и полоскать сами перестают, машины стиральные покупают.

Кругом машины. Чего только техника ни вытворяет! Вот намечут скирды соломы, с них слезать — две березки связывают. А зимой подходит трактор и цепляет целый омет. Один трактор не берет, другой подходит. Нет — третий. И все равно стащат с места и припрут на ферму.

Эх, не дожил до этого отец мой. Он бы порадовался технике. Он на сеялки не мог насмотреться: всю жизнь из лукошка сеял. Неделю до электричества не дожил. Уж все село проводами опутали.

Стиральной машине мама бы подивилась. По три корыта белья в субботу настирывала. Со своей семьей и я ничуть не меньше. Поясницу так наламаешь, что всю ночь стонешь, да негромко, чтоб детей не разбудить. А утром рано вставать печь топить, корову доить, завтрак варить. Но не встань-ко сразу, так и совсем не поднимешься. Потихоньку разломаешься.

Но что я заметила в прачечной, это то, что руками лучше, не в при-мер машине, стираешь. Сейчас и рада бы постирать, да не на кого.

Разъехались, разлетелись мои деточки. Не обижаюсь, живите. Бог здоровья даст да войны не будет, и я поживу.

КУПЕЛЬ

Я детей крестила. Сказать — не поверят: враз троих. Как вышло: война, муж в армии, дети маленькие. Его-то мать и моя вместе собрались, заставляют. Как не согласиться: если, говорят, окрестишь, мужа Бог бережет, живой вернется.

Старший уже большеньким был. Привезли. Поп обахался. Сорок лет, говорит, службу, первый раз у одной матери троих враз крещу.

Старшего в купель не окунали, а так, лицо и голову помочили, а меньших окунали. Потом их понесли кругом купели, а он сам шел. И тут стыда голове, стыда голове! Давал батюшка причастие. Старший первый принял и просит: «Дайте еще, дедушка!» Так голову с меня и снял. Но батюшка ничего, засмеялся, дал. Сладкого-то мало дети видели. Потом старший ходил, выхвалился: «Маленьких крестили, а я сам крестился!»

СУП С КРАПИВОЙ

В прошлом году ездила, церкви той уже нет. А встретила, кого не хотела, как бес подсунул! Излестьева. Бухгалтером всю войну. Американские подарки приходили — он делил. Уж разве чего самое такое сунет многодетным, остальное все себе да знакомым.

Диву даюсь, как я войну пережила с такой-то кучей детей. Всяко исхитрялась. Корова — главное дело, и люди помогали. Как не вспомнить Лиду Новоселову и Андрея Карнаухова. Она в хлебном магазине работала.

Когда по карточкам давали, то, бывало, заказывает — приходи: вдруг останется. Вот я выстригу свои, суну детям по куску, обратно бегу. Стану в сторонке, жду. Она, если надежда есть, мигнет — мол, жди.

А если уж нет, тоже даст понять. И, бывало, приносила.

А Андрей Карнаухов — вдовец. Жалел ребятшек. Нет-нет да и принесет хлебушка. Говорил, мол, из деревни посылают, а потом узнала, на себе экономил. Я даже как-то мешочек засушила. Нет хлеба — тарелочку сухарей из чулана несу.

Дети приедут, сухари вспоминают. Забавно: как конфетку сосали. А уж крапиву и лебеду, наверно, забыли.

Сейчас по радио и в газетах рекомендуют — суп щавельный, с кисленкой по-нашему. И с крапивой. Исследовали, что много витаминов. Слушаю и радуюсь, что дети много зелени ели. Тогда-то горе — детей травой кормлю, молоком забеливаю, слезами солю. Но крепкие все выросли. Сейчас свари мне суп с крапивой — духу не хочу! Наелась.

Варит, наверно, кто-то из интереса. Больше-то зачем? Конечно, зелень лучше, не химия какая-нибудь.

УГОЛОК

После войны карточки отменили. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны — по многодетным хлестнуло. В карточках на члена семьи, а тут на покупателя. Приведу ребят — бабы кричат: вот натащила!

А как не тащить — разве только большие есть хотят? Я какая-то несмелая, и обидно, а смолчу. Но одна баба, у нее еще больше моего, все рыжие, так-то на нее поднялись, — она в райком к секретарю. «Ты партийный?» — «Партийный». — «Клади билет, раз порядок не можешь навести».

Он тогда дал указание: семейным давать, сколь детей в магазин придет.

Полегче стало. А то и правда — маленькие растут, им есть надо. Их-то пуще всего жалко.

Но голодными спать не ложила. Всяко разнообразила. Картошку в мундире, то истолку с молоком, то котлеты из картошки, то запеканку из нее же. Едят мои дети!

А в очередь почему-то стеснялись ходить. Ладно, говорю, не стойте, так хоть придите, когда получать. Пойду с младшенькой, закажу старших. Раз запомнила: старший пришел. Бывало, на каждой буханке срежут уголок, а ему большую, целую свешали. Да на меня, да на дочку. Три-то нам хорошо хватило.

КОЛЬЦО

Питание, конечно, от урожая зависело. За войну земля истощала, не навозили. Лошадей почти нет — в армии, их ведь, как солдат, на войну брали, а от коров какой навоз. И у коров настоящей еды не было. К весне на веревки подвешивали, а то упадет и примерзнет.

На второй год после войны все лето дожди да дожди. Уже по подстылому, в варежках жали. Снопы с поля на санях возили. А те, что в сусло-нах стояли, топором вырубали, делали разгрузовку, и в молотилку.

Лошадей мало. Им отдыха ни днем, ни ночью. Распрягут, не успеет голову к корму опустить — обратно в хомут.

Быков объезжали. Кольца в ноздри просовывали. Не хочет идти — потянешь за кольцо, станет ему больно — идет. Хомут лошадиный разрезали и сверху надевали. Или рога опиливали.

«ОВОД»

Свет был плохой, коптилка. Потом получше — лампа-семилинейка. Потом и совсем хорошо — десятилинейка со стеклом. А потом уж куда лучше — электро. Так вот, когда сидели с коптилками, готовят дети уроки, стол облепят, коптилку повыше поставят, гляжу, и сердце болит: глаза испортят.

Говорю: давайте я вам вслух прочитаю. Они с радостью: давай, мама, давай! И спорят, что будем читать. Мне лишь бы что, мне-то зрение не беречь, уже не судьба была мне учиться, хоть, думаю, детям зрение сберегу.

Вот залезем на печку, на полати, сгрудимся у коптилки, я вслух читаю. И никогда не забыть — читали «Овод», с неделю читали, и дочитали до того места, как его расстреливают. Тут уж я не смогла, реву-заливаюсь. Ребята тоже режут. Я сглотну, опять читаю, нет, не могу: слезы дуют. И все тятя перед глазами — его в гражданскую расстреливали. Тятя лощманом был, всю Вятку и Каму исходил. Ихний начальник говорит: «Поведешь караван!» Тятя отказался: ветер, куда? «Расстрелять!» Мама всех нас — и больших и грудных — притащила, пошвыряла, отца закрыла. «Всех стреляйте!» Ой да, Господи, не буду вспоминать, опять как бы не зареветь.

СМЕНУ РАЗГОВОР

Ладно ли мне платье? Недорого обошлось: штапель. До чего дожила, платье на заказ шила. Могла бы и сама, недолгое дело, но не захотела: досыта нашила за свою жизнь. Всю семью обшивала, со стороны заказы брала. Невелик, а доход. Из старых брюк мужниных пиджачки и курточки шила, из его же рубах рубашки. Из отцовой гимнастерки, еще с первой германской, кителек выкроила, как новенький. Долго его сыновья с плеч на плечи носили.

Нынче всего полно. Зайдешь в магазин, какой только расцветки нет. На любого. А в двадцатые годы было плохо с материей, мама моя все вспоминала ранешнее время: мол, наедут краснотоварцы, всего навезут. Поглядела бы сейчас.

Хуже других мои дети не ходили. Учителя все удивлялись, и как вы пятерых содержите?

Сейчас хорошо люди одеваются. Летом ребятишки бегают, все обуты. А мои все лето босиком. До десятого класса в телогрейках ходили. А уж вот младшей пальто покупали: все в пальто, ей тоже надо. Нынче дети дороже обходятся.

Шила, много шила. Основное детям, но и в люди для заработка. Ночью, чтоб детей не будить, делаю что потише — распарываю старое или сметываю. Днем стрекочу. А сейчас уж и нитку в иголку не вдеть: не те глаза. Зато все дети зрячие. Все пятеро институты закончили, все пятеро.

СТАРИКИ

У меня машинка «Зингер» была. А стало полегче с деньгами, купили электрическую. Рукой не крути, узоры можно вышивать. Пальто стала подрубать — заело. Не идет. Притащила из чулана старую. Вставила. И что ты скажешь, протаранила! Тогда я ее смазала, вроде как в благодарность. Нет, думаю, парень, рано стариков браковать!

Вот заметь, как старики ходят и как молодые. Хотят дорогу спрямить, на угол срезать. Обходить далеко, неохота. По следам заметно, много раз совались на прямушку. Это молодежь. Все быстрее хотят. Туда-сюда, вкривь-вкось.

А старик рассчитает, свернет с одного места — и пошагал. А те, кто раньше дергались, и устанут больше, и ведь все равно за стариками пойдут.

ПРЯМУШКА

Про прямушку-то сказала да и вспомнила. С лугов через поля ходили. Километров восемь. Раз я с лугов быстрее лошади пришла. В каком это? В сорок седьмом? Точно, точно, в сорок седьмом, — денежная реформа и младшей полгодика было.

Людей мало, мужиков почти нет, муж в командировке. Сенокос. Мне тогда помогли. Уж поздно дومتывали. Роса упала, сено отдохнуло, вилы в него не лезут. Да еще — все одно к одному — дождь. Неладное дело, мокрое сено стоговать — сгорит. Хорошо, мешочек соли был, солью пласты пересыпала.

Так и сметали. Поехали. «Садись на телегу», — мне говорят. Нет, отвечаю, не сяду: больно тиха ваша лошадь. Лошадь — одни кости. С войны вернулась.

По лесу с ними шла, боялась одна, а как выехали в поле, на прямушку свернула. Тороплюсь: грудь подперло, не сжеживала целый день. Сердце болит: грудная дочка дома.

Бегу — вдруг голоса. Ох, испугалась я. Тогда — болтали, наверное, больше, сама не видела, врать не хочу, — боялись дезертиров. Страшно. Присела, слышу — говорят шепотком и косы точат. А, думаю, вы сами больше моего боитесь. Разогнулась и вольно пошла.

Бегу — луна. Неяркая: тучи, но светло, — по ржи иду, рожь желтая, август.

Прибежала, в окне свет. Девочки сидят на столе. Остальные спят, не дождалась. Куда старшая голову повернет, туда и грудная.

Постояла я, дыхание перевела. Потом, чтоб не испугать, не стала стучать, а тихо-тихо позвала: «Я здесь». Старшая вскочила, открыла. Груд-

ная ревет: стосковалась. Я скорей-скорей, чтобы она остальных не разбудила, не стала ссезживать, груди только обмыла, ей дала.

Уложила ее, да к корове. Мычит, жалуется: вымя тяжелое. Подоила, молока парного дочери налила, остальное в холодную воду поставила.

Уже я и к завтраку все приготовила, и молоко в ведре остыло, только тогда на лошади приехали. Разве б я с ними усидела на телеге? Сердце бы изорвалось.

Боялась я только, что нессезженным напоила. За целый-то день оно, ясно, перегорело. Нет — хоть бы что, не нежные дети у меня.

Не нежные... Иду раз. Одного несу на руках, а другой рядом бежит. И все отстает. Я злюсь, подгоняю. «Нога, мама, болит». Посмотрела — матушки мои — на подошве нарыв, как глаз. Маленького на ножки, этого на руки, в больницу! Ничего, говорит, мама, не неси меня, я тяжелый, сам дойду.

Не нежные. Конечно, когда ребенок падает, — сам бы вперед него сунулся, но всю жизнь рядом не будешь.

ЧТО НАЛЬЕШЬ, ТО И ВЫПЬЕШЬ

Пятеро у меня. Бывало, грешница, расстроюсь из-за чего-нибудь — всякое бывало, — да так и вырвется: смерть вас не берет. Потом как только не искажнюсь за такие слова. А что греха таить, бывало, и подумаешь: жизни своей из-за детей не вижу.

К тридцати годам всех родила. Все в детей, свету белого не видела. Тряслась над каждым. И если бы дети подвели, считала бы свою жизнь пропащей.

Теперь-то что, теперь можно погордиться. Я смеюсь, бабам на работе говорю: верю поговоркам, а одной не верю. Говорят, в семье не без уroda. Как это так, чтоб урод в семье, если следишь?

И еще одна поговорка неладная: с маленьким горе, с большим вдвое. Какое с большими горе, если голова у них верно приставлена? Как выразишь, так и ответят. Что нальешь, то и выпьешь.

Маленьких я лаской брала, подросли — сами друг дружку стали тянуть.

ОТРОСТОЧКИ

Всю жизнь рядом с Максимовной жила. Призвали мужа, осталась я с четырьмя. Лапша лапшой. А у Максимовны на мужа бронь, нужды в войну не видывала, откуда в ней сознательность?

Сравниваю своих детей и ее. Мои впрягутся, так не вылягивают, а ее все бочком да ребрышком. И ругает она их, и бьет, а толку — ноль. Прямо при посторонних галахами, архаровцами обзывает. Ей моих детей в пример ставят, она заявляет: «Дайте мне таких детей, и я бы не жаловалась».

А своих сама испортила. То ребенку всю заднюшку исцелует, то нахлопает, до слез доведет. Нельзя с ребенком такими рывками.

Все меня пытала, как я с детьми обращаюсь, будто слово какое знаю.

С детьми надо все время быть. Вот и весь секрет. А то та же Максимовна — в хор записалась. Уж чего ходить, репетировать — в доме не метено, дети не кормлены. В частом быванье бежит ее муж, в голос кричит: «Варя-матушка, подои корову, опять старая дура на спевку ушла».

И дождалась. Выросли — слово им боится сказать. Родная-то мать! Попробует что заметить — как палкой в осиное гнездо.

Разъехались они — ей тоскливо. Книги не умела, не привыкла читать, откуда веселье возьмешь?

Вот и одна. Пишут, только если что попросить. Разошлись и сошлись не по разу. Кому-то еще горе.

Но больше всего, опять на первое возвращаюсь, Максимовну вино.

И это в жизни всегда так: кто как себя ведет, кто как к другим относится, так же на нем и скажется.

И хоть я и ругаю нынешнюю молодежь, так больше за компанию. А опомнюсь и говорю: «Бабы, чего отросточки ругать — смотрите, от какого дерева».

СВОИ ГЛАЗА

Как советовать, кому что нужно? Вон котята — лежит шпулька, бери, играй, не нужна. А недавно перещарапались из-за нее. Как люди, ей-Богу. Схватил один, другому надо.

Была у нас в селе девчонка. Ни кожи, ни рожи, прости Господи. А присох Валерка, фамилию забыла, вот присох. И всем наша Таня стала мила. До драки из-за нее доходило. Пришло время, встретила Валеркину мать, говорит, что и не вспоминает. Я эту девчонку не охаиваю, может, Валерка тогда и разглядел чего в ней. Хорош Ненила, да люб Данила. Я о тех, что вслед за Валеркой кинулись. Кто на что внимание обратит, и другие глядят. Ровно своих глаз нет.

Эх, люди, люди. Тут пример — все за одним, а бывает, что все на одного. Корову выпустишь в новое стадо, сразу все на нее. Если даст отпор, примут, и будет как своя. Нет — все лето будут шпынять. Кто как себя поставит.

СБРОСЬ МЕШОК!

В девках я здоровая была, наравне с парнями мешки таскала. Тятя жалел, да ведь десять ртов в семье жалость заглушат.

И вот, никогда не забыть, грузили баржу картошкой. С обеда начали, к вечеру ноги подгибаются. Парни мне стараются мешки поменьше наваливать, а все равно. Дождь шел, промокла я, продрогла, все прокляла.

К вечеру дождь перестал. Тащу мешок, а тятя (он тоже грузил) говорит: «Варя, посмотри-ка какая красота». Я отвечаю: «Тятя, как же я посмотрю, меня мешок к земле пригибает, только под ногами и вижу». — «Сбрось, говорит, мешок, успеешь натаскаться, а такое не увидь — и не увидишь. Коня, говорит, какого в радугу запрягли». Что такое, думаю. Сбросила тяжесть, разогнулась. И ровно в глазах воссияло. Думала — пожар.

Вятка красная. Радуга во все небо. Поглядела я — как будто умылась, дышать легче стало.

И вот, думаю, не обрати мое внимание отец на красоту, да раз, да другой, так слепой бы и прожила. А от него переняла и детям передала.

Помню, пошла с дочкой за земляникой. День хороший, солнце. В березняке я нашла на маленькую полянку и обомлела. Зову дочку, чуть не шепотом, ровно кого спугнуть боюсь. Полянка вся в землянике, красным-красна, и на ней роса играет.

Дочка на голос прибежала, увидела, хлоп на колени — и рвать. По-дожди, говорю, не убегут ягоды, ты полюбуйся. Она встала рядом, смотрела-смотрела и говорит: «Жалко, мама, ягоды трогать, давай просто так уйдем». Я засмеялась: «Милая ты моя! Ты красоту запомни, а пользу за-чем упускать».

И вот чем закончу. У этой дочки своя дочь. Гуляем втроем в парке, она дочери говорит: «Смотри, Машенька, какие цветы». На руки взяла: «Смотри, Машенька, какие в небе облака».

А ведь это оттуда, когда тятя сказал: «Сбрось мешок, разогнись, на небо посмотри!»

ЛАПТИ НА БАРХАТЕ

Внучка меня раз насмешила. Идем с ней, вдруг теребит: «Бабушка, бабушка, смотри — дядя в сапогах! Дядя в сапогах, как будто тетя».

Дитяtko ты, думаю, чему удивилась, не видывала дядю в сапогах. А и то, сейчас и солдаты-то в ботинках.

И свое про обувь вспомнила. До войны стали хорошо жить, в лаптях никто не ходил, а война крепко назад отдернула. Вскоре после войны была я в городе и пошла в музей. Пристала к группе школьников и хожу. Экскурсовод интересно рассказывает, я слушаю. Вдруг слышу: «В такой обуви ходили крестьяне дореволюционной России». Ну-ка, ну-ка, думаю, Склонилась к витрине, под стеклом, на бархате лапти лежат. Меня как ожгло, чуть со стыда не сгорела: я-то в музей в лаптях пришла. До того мне стало неудобно, скорей на выход.

Но мужчина-экскурсовод или вслед поглядел, или сразу понял. Я пока с вешалки шубейку получала, он пришел. Говорит дежурной: «Нужно лапти прикрыть или вообще на время убрать, потому что (тут, видно, на меня показал) не первый случай». Но я смелости набралась и к нему обратилась. Не надо, говорю, убирать. Не война, разве б в лапти обулась. И он меня поддержал. Правильно, говорит. Настоял, чтобы я досмотрела музей до конца. А что, в самом деле, в кои-то веки в музей попала, да не посмотреть.

Он со мной обходительно. Вы, говорит, не стесняйтесь. Я окончательно подбодрилась, раз такое понимание. Чего мне стесняться — сколько валенок со своих ног ленинградским беженцам отдала, сколь на фронт всего отправляла, не одну сотню варежек связала, свои ребятишки голо-рукие.

К витрине еще раз подошла, ссохлись те лапти, надень — потекут, так только, для погляденья. Лежите, думаю, милые. Ведь это обувь хорошая, лучше, например, резиновых сапог, здоровее. Но не заставишь, не модно. Раньше ведь одевались по погоде, сейчас по моде.

ГРОБ С ПШЕНИЦЕЙ

Чего только в жизни нет. Одна староверка, старуха кержачка, осталась одна. Заболела, работать не может, в люди не идет. Был у нее припа-сен мешок пшеницы, на поминки берегла.

И будто бы ей ночью голос: раздай все с себя потайной милостью и прыгни с церкви. Ночью обошла деревню, все с себя сняла, подкинула на пороги. Осталась в одной рубахе. Церкви в деревне нет, чувствует: до села не дойти. Пришла домой, легла помирать.

Лежит, и ей другой голос: раздай по горсти пшеницу из гроба — и придет хорошая смерть. Она заказала гроб, из дуба долбленный, как лодка-душегубка, примерила — умещается. Насыпала гроб зерном, поставила в сенях.

Приходит нищий — дает горсть. Еще нищий — еще горсть. Вначале быстро убывало, потом — жизнь полегче, нищих меньше — застопорилось дело. Что ты будешь делать?!

Выгребла зерно, смолола, напекла пшеничных пирогов, назвала в гости всю деревню. Пришли к ней, с собой принесли. И что ты скажешь — еще и сплясала. Вот как. И живет! И голосов не слышит.

СЕМЕЧКО

Грызли семечки, и кто-то уронил целое, оно проросло. К осени дело, а росток знать ничего не знает, тянется. Пожалела: для нас ведь хочет вырасти. Выкопала, пересадила в кадку. Но нет, парень, видимо, толку мало со своего места срывать. Завял...

Тут я другое хотела сказать — вот как не вовремя семя кидать. Хуже нет не ко времени рождение. Курица тайком нанесла яиц семь штук и села. Сидит, парит. Я ее согнала: скоро мороз. Вылупятся, куда с ними?

Правда, если корова теленка принесет, так он хоть и поздыш, ему рады. В избу принесут. Так то теленок.

А если на людей переводить, так ребенок хоть к зиме, хоть к лету всегда радость.

Лишь бы не война.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

На всяких людей насмотрелась. Видела и таких, — прости, Господи... Пошла под утро воды в титан налить, гляжу, выскакивает из номера почти голая, там один жил командировочный. «Ах, ты!» — говорю. И стала ее стыдить. И что мне самое дивное, так хоть бы капельку скраснела. Ни грамма! «Не стыдите, — отвечает. — Двадцатый век!»

Ремнем бы я перепоясала такой двадцатый век. Она, видно, тому своему сказала. Утром он сует пятерку. «Мамаша, мамаша, не сердитесь». — «Уйди, говорю, со своей пятеркой».

Я бы еще поняла, если любовь или что серьезное. А какая там любовь — впервые к нам приехал, и где-то в первый же вечер сплелись. Двадцатый век!

СОАВТОР

Раньше было много командировочных. Как наедут: по мясу, по молоку да по кукурузе — койки негде ставить. И сейчас едут, но все-таки поменьше.

Один как-то вовсе чудно приехал — ни за чем. Я, говорит, в творческую командировку. Живи — место есть. В отдельном номере жил, все писал книгу. Не дописал еще, приходит вечером: «Можно, я почитаю!»

Вижу, прет из него. Конечно, говорю, читайте.

Стал читать. Долго читал. Мне бы самое время поспать: все затихло, но сию, слушаю. Вот читает он, как жили раньше, еще при помещиках,

потом поближе, поближе к нашей жизни. Сначала я понимала, но сон одолевает — не могу, так и тычусь головой. Встряхнусь, опять слушаю, вникаю. Нет-нет да опять ткнусь.

Мне бы умыться, я б стерпела. Вначале-то бодрилась, где и поддакну, потом — нет, не могу! Так и клюю. Он заметил. «Вы спать хотите?» — «Да нет, читайте, читайте». А куда там нет — третий час ночи. Опять читает. Мне жалко его, но не поспи я хоть часика два, какой я наутро работник?

Он снова спрашивает: «Я вам помешал, наверное». — «Нет, не помешали, а поспать бы немного». — «Ну ладно, я потом». Встал, пошел уже, повернулся: «Вы были мой первый читатель». Уж какой я читатель, совсем засыпала. «Понравилось ли?» — спрашивает. Я обидеть-то его не хочу, конечно, говорю, конечно, все складно.

В одном только месте поправила, где он про сенокос писал. Тут-то уж я спец. Не так он выразился. Он согласился: «Спасибо, говорит, теперь вы мой соавтор».

ТИХИЙ КЛИЕНТ

Другой жил тоже в отдельном номере. Тихий-тихий, а все приглядывается, замечает. Долго жил. Больше месяца запрещают в гостинице держат, так мы его переписали заново, квитанцию сменили — живи. На встречу ему пошли.

Уборщица даже постирала ему, пожалела. Дает ей рубль и пустую бутылку для сдачи, — купите, мол, вино за рубль семь. Самое дешевое. Она, не будь плоха, да и прямо ему: никогда я не пивала этой кобыльей мочи.

Так вот, раз он подходит ко мне, я дежурила. «Сидите тут, а на втором этаже в карты на деньги играют». Я встала: конечно, это безобразие, но уж очень неохота донос принимать.

Рядом с ним другой клиент стоял, я знак сделала, он понял, а я вроде замешкалась, а потом пошла.

Те, верно, играли, но быстро сработали, поднимаемся — у них журналы на столе. Я на него: «Что я вам, девчонка, чтоб надо мной шутки шутить, гонять туда-сюда».

Потом-то я крепко поговорила с игроками. Люди — не скотины, скажи по-хорошему, поймут.

А этот тихоня на меня заведующей наговорил. Да не в те ворота, не на таком я счету, чтоб под меня подкопаться.

Собрались мы и заявили ему: давай-ка, милый человек, отчаливай. Он грозить: я на вас управу найду! Как тут на него уборщица поднялась! Такой-сякой: ходишь за вами, да еще какая-то на нас же управа! «Нет, кричит, на вас твердой руки!» У нас, говорит, и у самих руки не слабые. Перенеси-ко с наше, закалишься.

Написал ведь все-таки. У нас же и жили проверяющие. Так и пожалеешь власть, сколько у нее времени на доносы уходит.

БАНАНЫ В ВАЛЕНКЕ

Район у нас невелик, а селекционная станция на всю страну. И какое-то в ней проводилось крупное совещание. Много приехало. Опыт перенимать. Все комнаты заняли.

Я вечером приняла дежурство, делаю обход. «Гражданин, — гово-

рю одному, — кто ж так отдыхает, снимите обувь». Одет прилично. Strongly загоревший, как с курорта. И чего-то: ля-ля-ля, а-ля-ля-ля... Вот, думаю, на вид трезвый, а лыка не вяжет. От жены, думаю, уехал да дорвался.

А бабы-то мне и объяснили, что не русский язык. Вот уж посмеялись.

Негр. Трясет его от нашего холода, а бодрится, вида не дает. Одно только понятно говорит: банан... банан...

Привозили, говорю, нам бананы. Зеленые. Так мы их в валенок клали дозревать.

Вернулась, говорю: «Бабы, мерзнет ведь черный-то». Как на грех, ни одного одеяла в запасе. Были, так на уборку студентам отдали. Пошла я в общий номер, там агроном ночевал, как раз с этой станции. Дай, говорю, одеяла, переспи уж под плащом. Ты-то свой, перетерпишь.

Согрелся негр. Уезжал, чего-то по-своему в книге отзывов наказывал. Может, благодарность.

ТРАКТОР

Построили у нас Дом культуры. Сейчас много строят, у нас в гостинице строители постоянно живут. На юг сколько леса тянут, редкий день, чтоб погрузка не шла. Скоро не только строительный, любой лес повезут, топить печки нечем будет. «Ничего, мамаша, — один говорит, с юга тоже приехал. — Мы давно навозом топим».

Этот Дом-то культуры наши строили, Межколхозстрой. А на торжественное открытие одного строителя не пустили. Пришел, жалуется. Я успокаиваю: чего сердиться? Погли-ко, ты в телогрейке и сапоги грязные. Я, кричит, линолеум настилал. Выпивши, рассолодел. Обидно, кричит. А чего, говорю, обижаться. Вот возьми: трактор дорогу-асфальт делает, его же потом и не пустят на нее. Трактор и по обочине пройдет. Иди, говорю, переоденься.

И смех, и грех.

МЕДОВУХА

В больнице больше разговаривала, чем читала. Читать — уже глаза не те. Лежим, говорим с бабами. Все больше моего возраста. Многие уж веру потеряли. Бабы утешают: теперь и болеть-то благодать — и кормят, и ухаживают. «Верно, верно», — начнут поддакивать. Бывало, выпишут порошок: принимать три раза в день после еды. А еды и на раз нет.

Вспомнишь плохое — и терпимое хорошим кажется.

С чем только в больницу не попадают. Одна баба с чугуном кипятка пятилась от печи, а забыла, что подполье открыто, да и оступилась! И весь кипяток на себя. Выскочила, да в снег. Одежда жжется, давай одежду срывать. Все равно плохо. Побежала в больницу. Так, раздевшись, пять километров по снегу и бежала. Понимала, что помогут.

Выжила! Долго на спине лежала. Спина-то уцелела: она, как пятилась, все на лицо, да на грудь, да на живот. Сделали над ней полог из марли, каждый день ожог обрабатывали. И слезы, а шутит.

Медовуху затевала. Ну, смеемся, больше не будешь.

— Буду, — говорит. — Скоро выпишусь, как на радостях не заварить? Вот и возьми ее за грош!

ПЯТАЯ КЛЯТВА

Раз привезли женщину. Ну непоседа! Четыре дня после операции велели лежать, два вылежала. А операцию трудную перенесла: закупорка вен. Лежит, нога подвешена. Приходит врач. «Как вы себя чувствуете?» — «Да вот так!» — и ногу столь высоко взметнула. Врач даже вскрикнул: «Я вас на костыли поставлю». — «А я этого и добиваюсь!»

Четверо у нее. Рожала, рассказывает, после операций. Первого просто так, а второго после аппендицита. В больнице, говорит, поклялась, если все хорошо пройдет, еще родить. И родила. Потом грудница. Опять дала клятву. Быстро выздоровела. А раз поправилась, надо клятву выполнять. Третий... Четвертого после грыжи.

Вот сейчас — вены. «Бабы, — говорит, а сама на костылях хромает. — Бабы! Давать клятву?» — «Как знаешь», — отвечаем.

— Клянусь, бабы!

НЕ ПОНИМАЮ

Сейчас рожают меньше, а людей больше. Это потому, что врачи хорошо работают, не дадут умереть. Ребенок раньше слабенький родится и быстро умрет, не успеют его пожалеть. Сейчас любого спасут, и уколами, и витаминами будут поддерживать. Глядишь, бледный, худенький, совсем не жилец на белом свете, а живет.

Родители-то поймаются за него: как не жалко — один. А нет такого, чтоб второго да третьего родить, дорого, говорят. А что дорого, если все есть? Шиковать-то ни к чему. Декретные отпуска с оплатой большие, совсем женщине красота, а не больно-то. Почему это, не понимаю. Или взять — есть замужние, совсем рожать не хотят, не торопятся, о старости не думают. «Пожить сами хотим!» Таких раньше пустоцветами называли.

Да ведь мало того, сколько есть случаев, забеременеют и аборт делают. Совсем нехорошо: зародился, значит, жить собирался.

Одна баба молодая, парень бросил, не хотела ребенка. Порошки какие-то пила, таблетки. Изводила. А он родился! Родился, молоко пьет, грудь теребит, она не нарадуется. Песни поет. Дура, говорит, я дура была, счастья себе не хотела.

Растет девочка крепенькая, здоровая, ничем не болеет, спит спокойно. Парень, который жениться-то не хотел, вернулся. Расписались. Она из ЗАГСа в магазин, полные руки погремушек набрала. Дает в ручку. Девочка трясет-трясет и уронила. Ручонками по одеялу ищет, цапает, цапает, а глазами не глядит. Мать испугалась, подобрала игрушки, встряхнула. Девочка руки на звук тянет, а глаза в потолок. Ох, уж тут-то мать взвыла: слепая девочка родилась. Бог наказал, не прошло даром, что ребенка не хотела.

ШОКОЛАДКА

Это ведь только начни говорить о детях, и конца-края не будет. В одной семье два ребенка было. Первая девочка. Отец хорошо к ней относился. Второй — сын. Отец обрадел, дочь не нужна стала, сына с рук не спускает. Сын подросток, чувствует заступничество, сестренку обижать стал, мать расстраивается, ругается с мужем. Он, все равно, идет с рабо-

ты — шоколадку сыну несет. Вездь и той же дочке шоколад не в диковинку, удиви-ка нынешних детей сладостями, но обидно же девчонке, вот в чем беда. Сынишка выхваляется перед сестренкой, мол, мне дали, а тебе нет. И сознания, что надо поделиться, нет. Сын эгоистом растет, дочь обиженной. Одного обделили — два горя воспитали.

ФИЗКУЛЬТУРА

Чудо страшное, что нынче врачи вытворяют. Старушке одной камни из печени удалили. Сполоснули и на тряпочке принесли. Гладкие, как камешки. Пожмешь — и распадаются. Как накипь самоварная. Восемьдесят лет старухе, здоровой выписалась, Богу за врачей молится.

Но опять-таки не всегда. Мне зуб резали и зацепили голосовые связки и еще что-то.

Сначала совсем не говорила, потом шепотом, а разрешили громко говорить, сказала и испугалась, как пьяный мужик хриплю. Потом понемножку голос наладился, но уж очень слаба была. Выписали, еле ходила. Закутаюсь, как кукла, и сижу на свежем воздухе. Не лучше и не лучше. Таблетки пью. Все не то. Ну, думаю, подружка, хана тебе придит. И сама себя заругала: «Да ты что, да разве ты не отцовская дочь!»

И начала двигаться, начала зарядку делать. Ну, смех — свою зарядку выдумала. Рукой кручу, будто воду из колодца достаю. Шестьдесят девять оборотов (это такой у нас колодец глубокий был) одной рукой, шестьдесят девять другой. И так все знакомые движения. Как будто траву кошу, сено гребу, будто дрова рублю. Кому рассказать — засмеют.

Но только так и встала на ноги. А под радио никак не могла прироваться зарядку делать: поздно ее передают.

Выздоровела, пошла на работу, вот, мол, ведь я какой зарядкой занималась, все крестьянские работы вспомнила.

Бабы смеются: не водопровод бы, да не отопление и газ, люди бы и не болели, больше б развития было.

КАК МУЖИКОВ УЧАТ

Ни в больницах, ни на работе, ни днем, ни ночью не забываю о детях. Сейчас уже все сами отцы-матери, и никакой я им не советчик, только переживатель. Слава Богу, живут хорошо, не жалуясь. Как по первому разу сошлись, так и живут.

А мало ли что бывает. Была у нас одна — все ее муж бил. Плачет, жалобится. Ей говорят: «Да ты что поддаешься! Не крепостное право. Он бьет, и ты бей!» — «Ой, да как, да не могу». Еще ей поговорили.

Раз он приходит пьяный, она у печки. Ни с того ни с сего ее ткнул. У нее в руках был ухват, так она об него весь ухват исхвостала. Он глаза выворотил: чего это с бабой случилось, с ума сошла?

И больше ведь разу не ударил. И пить бросил. По большим праздникам только. Так тогда сама поднесет.

А один все опять посуду бил. Все, брезгуша, рылся-разбирался. Суп не понравится, он тарелку вместе с супом к порогу. Она мне поплакалась, я и посоветовала: «Он бьет, и ты бей!»

Вот сидит он за столом — бряк об пол тарелку. Она схватила другую: «Ты бьешь, и я буду!» И с маху вдребезги.

Тоже, как рукой сняло, — и суп ест, нахваливает, и тарелки целые.

ЧУЖОЙ ОГОРОД

Или взять, мужики есть, гуляют от жен. У нас одна стекла сопернице высадила. И чего доказала? Ее же на смех подняли. Потому что не первый случай. Уж один раз дралась. А он, вишь, задурил, да к другой. Ну и что? Этой досадила, к третьей пойдет.

Со всеми не передерешься. Дерись не дерись, если натура такая.

Я его знала — электриком в гостинице был. «Хм, говорит, сеешь, так чего и на чужом огороде не присеять? Баб ведь полно. Как вина».

Избегался, изоврался, полслова без обмана не скажет. Соврет и всегда прибавит: «Правда, правда!» Сынишка его еще слов не выговаривал, а тоже, как отец: «Павда, павда!» И рукой, как отец, поведет. «Сергей, говорю, совсем ты неладно делаешь. Весь ты извертелся. Где надо и где не надо врешь».

О ПРАВДЕ И ЛЖИ

Тогда он говорит: «Я вам один анекдот расскажу». И рассказал при сказеньку. Так-то она вроде интересная.

Идет, говорит, Правда. Худая, от голода шатается. А навстречу ей Ложь. Ложь спрашивает: «Что это ты, Правда, уж больно тоща?» Отвечает Правда: «Три дня в рот крошки хлеба не бирала». — «Пойдем, — говорит ей Ложь, — я тебя накормлю». — «Да у меня денег нет». — «Ничего, пойдем». Пришли в столовую, сели. Ложь много чего поназаказывала. Поели. Надо расплачиваться. Официант: «С вас столько-то». И вот тут Ложь как-то извернулась, изловчилась, так вышло, что вроде за обед они не должны. Официант чувствует, что его обманули, доказать не может и говорит: «Да где же тут правда?»

А Правда отвечает: «Я здесь. Только я сытая, так молчу».

Рассказал и смеется. Вот как подкусил. Я рассердилась, говорю: «Ты в свою пользу не сворачивай. Какая ж это правда, если за один стол с ложью села? Этак-то любую базу можно подвести под свое оправдание». Но ему как о стенку горох. «Будешь голоден, говорит, так сядешь».

Не пошла у него жизнь. Его жена политику сменила. С работы ждет, бутылку на стол ставит. А вином при себе держать — последнее дело. Он слаб на выпивку. И началось: то пьян, то с похмелья. Дня от ночи не отличает. Она не жена министра, с чего на каждый день напасешься?

Буфетчицей в бане работала, стала подворовывать. Посадили. Он окончательно свернулся. Парня в детдом.

ИСТЕРТЫЕ ПИСЬМА

На работе, в гостинице, сдают паспорта на прописку, все на год рождения смотрю, со своими детьми сравниваю. Все кажется, мои моложе да лучше.

Письма храню. Как не хранить? Летом-то легче: станет одиноко, так и к соседкам схожу, или они придут. Все зеленое, солнце, тепло. А зимой снегу наметет под наличники, крыльцо закидает. С работы приду, по пояс протащусь, печь истоплю или так лягу, если устала, особенно после ночной. Почтальонка как только лезет по снегу? Пльвом плывет. Я уж боялась — вдруг откажется почту носить? Нет, носит. Немолодая, знает, как письма ждут.

Как не хранить? Если писем долго нет, так старые перебираю, перечитываю.

Или фотографии пересматриваю. На внуков смотрю. Все-то кажется, что в наше родство пошли.

МОЛИТВА

Нынче летом за малиной ходила, в деревне ночевала. Во всей деревне три дома, и в каждом по старушке. Еще с керосином живут. Невыгодно колхозу из-за трех старух с центральной усадьбы свет тянуть.

Чаю попили. Я легла, слышу, молится старушка перед сном. Привста-ла, гляжу. Луна, мне видно.

В деревнях фотографии под одну рамку вставляют, вот она на коленях стоит перед фотографиями и что-то говорит, говорит.

Утром ее спросила, — вида не даю, что что-то слышала, — кто на фотографиях?

Дети, кто еще! Да муж погибший, да внуки.

За них и молилась. Рядом с фотографиями икона у нее.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Вологодскую старуху, с которой в поезде ехала, не зря вспомнила. В разных местах жили, а одинаково. Обе многодетные, по годам-то уж давно пора на пенсию, а работаем: стаж не выработан; домохозяйство в стаж не учитывается.

Обидно, конечно. Выходит, что кассиром на полставки и то почетнее, чем детей растить. Ну, да ладно... Грамотные решили.

Перемерет наше поколение, и уборщицы будут с высшим образованием. Может, полы чище будут...

Сын письмо мне прислал. Квартира городская, жена тоже с высшим образованием. Легко, пишет, мама, жить: дрова не рубить, воды не таскать, а трудности есть. Другие трудности, потруднее. Я не знаю, да мне и не понять, какие.

Только верю, что дети с ними справятся, да и надеяться только осталось, что не забудут дети, сколько в них вложено, и что главное: не жду я благодарности и помощи, своих бы детей воспитали по-людски, а те свои, тогда и мне спокойно лежать будет.

